

К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 5. //Правда,
Москва, 1977
FB2: Vitmaier, 2008-05-07, version 1.0
UUID: e71d6ad0-7fb4-102b-9c90-12cbc7843eac
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Решение

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0010
III.....	.0018
IV.....	.0023
V.....	.0047
VI.....	.0054
VII.....	.0068
VIII.....	.0073

**Константин Михайлович
Станюкович
РЕШЕНИЕ**

В этот осенний петербургский день, ненастный и мрачный, наводящий хандру, Варвара Александровна Криницына пришла к окончательному и твердому решению: взять детей и уехать от «этого человека».

«Этим человеком» был, само собою разумеется, не кто иной, как муж, лишенный с некоторых пор, за многочисленные и тяжкие вины, своего христианского имени Бориса Николаевича. Еще не особенно давно «Борис», «Боря», а иногда даже и «Борька», он теперь был для Варвары Александровны только «этим человеком» и под такой кличкой, с прибавкой подчас не особенно нежных прилагательных, удручал мысли Варвары Александровны и фигурировал в ее интимных беседах о нем с одной доброй приятельницей, у которой тоже вместо порядочного мужа был «этот человек». Нечего и говорить, что обе приятельницы досыта изливались одна перед другой и вместе плакали после того, как оба «эти человека» были обеими дамами расписаны в надлежащих красках.

Да, взять детей и уехать.

Он не осмелится разлучить детей с матерью – да и на что, по правде говоря, «этому человеку» дети? – и будет давать на их образование и на содержание – не настолько же он «подл», чтоб отказаться от священных обязанностей отца (Варвара Александровна мысленно подчеркнула слово: «священных»), да, наконец, и суд есть! – а сама она, конечно, ничего не возьмет от «этого человека», ни гроша! Она будет работать, не покладая рук. Ей обещали занятия на пятьдесят рублей в месяц, – как-нибудь да проживут. Уж она присмотрела маленькую квартирку в три комнаты с кухней на Петербургской стороне, нарочно подалше от Владимирской, где он останется жить один в шести больших комнатах.

«Квартира-то у него по контракту. Раньше весны не сдаст!» – не без злорадства подумала Варвара Александровна.

И она продолжала ходить быстрой, решительной походкой взад и вперед по спальне, вновь перебирая в уме мотивы своего бесповоротного решения.

Другого исхода нет. Долее терпеть униже-

ния и оскорбления она не намерена («Благодарю покорно!») да и не в состоянии. Есть предел всякому терпению для порядочной, уважающей себя женщины. Довольно-таки перенесла она обид, особенно за последний год, все надеясь, что «этот человек» одумается и поймет всю гнусность своего поведения... Но он и ухом не ведет... По-прежнему никогда не сидит дома, пропадает до поздней ночи и возвращается иногда навеселе... А в редкие часы, когда «этот человек» дома, он спит или молчит. Никакие объяснения с ним невозможны: ни мольбы, ни слезы, ни упреки не действуют. Он безучастно слушает, точно и не ему говорят, и упорно отмалчивается, не считая нужным даже оправдываться... С ней оскорбительно холоден... почти не разговаривает, точно она ненавистная жена... Ну, если разлюбил... да и мог ли когда-нибудь серьезно любить «этот человек», готовый увлекаться каждой юбкой и бегать за ней, как... (Тут Варвара Александровна употребила не совсем удобное в дамских устах сравнение, и лицо ее выразило гадливое отвращение). Ну, не люби, если уж ты такой подлец, что не ценишь по-

рядочной женщины, но уважай, по крайней мере, мать своих детей, уважай женщину, которая отдала тебе свою молодость... («Тогда вы сидели дома и никуда без меня не смели выезжать!») Обращайся, как следует, не веди себя, как какой-нибудь беспутный мальчишка, не делай жену предметом оскорбительных сожалений... Оказывай хоть должное внимание. Она ведь, кажется, не требует большего, настолько она горда... Своим поведением он уничтожил в ней всякое чувство, теперь она презирает «этого человека», и если б не дети – давно бросила бы его! Только ради них она все переносила, ради них питала надежду, что он исправится... Но больше нет надежды, нет и сил... Вина на нем. Ее совесть чиста. Она свято исполняла свой долг: была верной, любящей женой, хорошей матерью, бережливой хозяйкой... Даже в мыслях она никогда не изменила ему, и никто не посмеет усомниться в ее добродетели... Господи! Другие жены и имеют романы, и кокетничают до бесстыдства, и разоряют мужей и... их любят, их ценят, а она безупречная, честная женщина и... вот...

– Уеду, уеду! – решительно проговорила вслух Варвара Александровна. – Пусть «этот человек» пропадает один... Мы ему не нужны!

Чего еще ждать? И без того она совсем измучена... Здоровье надорвано, нервы расшатаны... Один вид «этого человека» приводит ее в раздражение... Надо же наконец успокоиться... Надо поберечь здоровье хотя бы для этих бедных, ни в чем не повинных детей... Отныне она безраздельно будет принадлежать милым крошкам и жить исключительно для них, а ее личная жизнь кончена... Не надо ей любви, кроме любви детей... Впоследствии они узнают, какая она была страдальца и почему должна была бросить их отца... Они, конечно, не осудят матери...

И при мысли о бедных детях – мальчике и девочке, которые в это время весело играли в соседней комнате со старой няней, Авдотьей Филипповной, и о том, какая она в самом деле страдальца, слезы заволокли глаза Варвары Александровны. Она всплакнула, горько жалея себя, и ей казалось, что несчастнее ее нет на свете женщины и что она жертва «это-

ГО человека».

Однако внешний вид Варвары Александровны далеко не соответствовал представлению о «жертве» и еще менее внушал опасения за ее здоровье.

Несмотря на свои тридцать шесть лет (для лиц, незнакомых с ее метрическим свидетельством, «около тридцати»), это была еще довольно моложавая и свежая, пикантная брюнетка, небольшого роста, крепкая, сухощавая, отлично сложенная женщина с тонкой талией и хорошо развитым бюстом. Ее смуглое, цыганского типа, лицо, энергичное и властное, с неподдельным румянцем на подернутых пушком щеках, с расширенными ноздрями крупного восточного носа над строго сжатыми пышными губами с едва заметными усиками, с нежным подбородком, на котором чернела родинка, — еще сохраняло следы красоты и дышало жизненностью и здоровьем. Большие черные глаза, осененные густыми длинными ресницами, были полны жизни, красивы и строги. Несмотря однако на эту строгость взгляда, и в этих глубоко сидя-

щих глазах с темными крутами и маленькими «веерками» у висков, и в лице, и в нервной, порывистой походке, и во всей этой маленькой сухощавой фигурке чувствовался страстный и впечатлительный темперамент южанки.

Черные, как смоль, роскошные волосы с узенькой серебристой прядкой, красиво белевшей на черном фоне, были гладко зачесаны назад и собраны в виде коронки на темени. Видно было, что Варвара Александровна дорожила внешностью и одевалась с кокетливой изысканностью женщины, желающей нравиться. Домашнее черное кашемировое платье с вырезом у шеи, закрытом пластронном, затканым серебряным шитьем, отлично сидело на ее статной фигурке и шло к ней.

Варвара Александровна отерла платком слезы, распространив по комнате тонкий аромат ириса, и меланхолическим взором обвела свою спальню, – уютную комнату с пылающим огнем камина, убранную со вкусом и тонким умением опытной женщины, понимающей значение хорошо свитого гнездышка, – с мягкой мебелью, располагающей поне-

житься на отдыхе, красивыми вещицами на письменном столике и этажерках, с цветами, ковром во всю комнату, красным фонариком и атласной, расписанной цветами, ширмой, за которой стояла кровать под белоснежным кружевным парижским покровом.

Эта, прежде столь любимая, комната возбуждала теперь в Варваре Александровне одни лишь горькие воспоминания оскорбленной женщины и безвинной страдальицы.

Еще бы! Сколько было здесь сцен! Сколько в ней пролито слез за последний год! Сколько она тут выстрадала! Сколько провела бессонных долгих ночей с печальными думами в скорбном одиночестве в то время, как «этот человек», возвратившись на заре и прокраившись чуть слышными шагами, безмятежно храпел у себя в кабинете!

Жесткое, злое выражение внезапно искривило лицо маленькой женщины и сверкнуло острым блеском в глазах. Ей почему-то вдруг живо припомнилось несколько затрудненное объяснение «этого человека», когда он, год тому назад, совершенно неожиданно перебрался в кабинет. И каким заискивающим, под-

лым тоном говорил он тогда!

«Ему, видите ли, удобнее спать в кабинете. Он иногда поздно возвращается и не хочет беспокоить Вавочку. И наконец он не выносит света лампы!»

А прежде выносил?!

– О, подлый, лживый человек! К чему он лгал? Ему просто хотелось скрывать свои поздние возвращения... Он и тогда уже не любил меня! – прошептала Варвара Александровна, полная злобного презрения к этому лживому человеку.

Она без всякого сожаления бросит его и сегодня же, когда он вернется со службы, объявит ему о своем бесповоротном решении. Небойсь, его передернет от такого сюрприза – он все же любит детей – и, вдобавок, скандал... Жили двенадцать лет, и его бросает жена, безупречная, честная жена...

– Как-то отмолчится он на этот раз. Заговорит-таки наконец, за-го-во-рит! – протянула вслух Варвара Александровна с ядовитым сарказмом в тоне.

И, разумеется, не отказала себе затем в маленьком, невинном удовольствии: вообра-

зить «передернутую» изумлением физиономию «этого человека», когда она ему «холодно, тихо и спокойно» сообщит о своем непоколебимом решении. «Пусть хоть совсем скотится на сторону это „рыбье лицо“, – подумала эта маленькая решительная женщина, продолжая порывисто ходить по спальне, вся поглощенная злыми мыслями о тяжелых винах мужа и об его полнейшей безнадежности сделаться когда-нибудь в ее глазах мало-мальски порядочным человеком.

Вообще далеко не злая, скорей даже добрая женщина, всегда умевшая довольно терпимо относиться к людям (исключая, впрочем, неверных мужей) и прощать им многое, Варвара Александровна, как и большая часть жен, считавших себя безвинно оскорбленными, – перебирая в памяти разные «подлости» последнего времени того самого мужа, которого она еще не особенно давно считала лучшим человеком в подлунной, – была теперь к нему беспощаднее самого злейшего врага и мысленно устраивала будущее «этого человека» полным таких «египетских казней», что при одних мечтах о них лицо Варвары Алек-

сандровны принимало злобно-торжествующее выражение.

Пусть поживет один, если не умел ценить счастья семейного очага и любви порядочной женщины! Пусть поживет! В квартире у него, конечно, будет грязь, пыль и беспорядок, кабинет никогда не прибран, утром чаю ему вовремя не дадут и нальют не такой, к какому он привык... Никто не починит ему белья («ходите в рваном, презренный человек!»), никто не пришьет пуговиц... Кухарка будет немилосердно обкрадывать... или шляйся обедать по трактирам... Почувствует он потом, что значит жить без семьи, без преданной женщины... Будет проводить за картами ночи, кутить, развратничать и совсем опустится... Пусть! Пусть под старость кается, что разрушил семью, оттолкнул верную жену... Не маленький... Сорок два года!.. Пусть во время болезни лежит один без призора... Нет жалости к этому безжалостному человеку!

Но эта, созданная Варварой Александровной, приятная картина будущих злосчастий «этого человека» без пришитых пуговиц, в рваном белье, кутящего развратника («деньги

на содержание детей будут, конечно, удерживаться казначеем из его жалованья»), возвращающегося поздней ночью в грязную, неприбранную комнату, – омрачилась внезапно появившейся мыслью, что какая-нибудь другая женщина может, вслед за переездом Варвары Александровны, поселиться с «этим человеком» и не только чинить ему белье, пришивать пуговицы, убирать стол в кабинете и наливать по вкусу чай, – но вот в этой же самой комнате нежно и мирно беседовать с ним, и не думающим удирать из дому... Кто именно могла быть такой «дурой», Варвара Александровна с достоверностью решить не могла («этот подлец ловко скрывает от нее свои интриги»), и подозрение ее перебегало с одной «дуры» на другую из некоторых знакомых дам, задело было одну смазливую девушку, говорившую, что она без предрассудков, и кокетничавшую довольно «нагло» с «этим человеком», и в слепой ярости метнулось даже на свою кузину, молодую «толстушку», с которой «этот человек» в последнее время обращался слишком по-родственному и всегда при встречах как-то долго целовал ее «скверные»,

«жирные» руки, находя их красивыми, – и ни на ком не остановилось окончательно... Но такая «дура» могла найтись и верно уж есть... Анна Петровна, например... Мало ли бессовестных женщин, расстраивающих семейное согласие?.. И «этот человек» может быть счастлив, устроивши себе новую приятную жизнь, в то время, как она будет жить в трех маленьких комнатах, в заботах о детях, одинокой, несчастной вдовой при живом муже...

Эта мысль о другой женщине, мгновенно развитая причудливой фантазией Варвары Александровны в целую картину благополучной, счастливой жизни виноватого, негодного мужа, заставила маленькую женщину вздрогнуть, как ужаленную, от прилива злого чувства и острой тяжелой обиды.

Господи! Могла ли она когда-нибудь подумать, что ей придется переживать такие страдания и что ее осмелится так безжалостно оскорблять тот самый человек, который прежде – и давно ли? – был ее покорным, безответным рабом.

III

В самом деле, быть оскорбленной человеком, которого женщина считала своим вечным подданным, это еще обиднее! А прежде, когда Борис Николаевич еще не состоял в звании «этого человека», он, действительно, находился в полном подчинении у властной, деспотической Варвары Александровны, безропотно исполнял ее желания, не смел, бывало, и пикнуть перед ней, боясь получить хорошую порцию упреков, одним словом, был порядочным мужем, мягким и уступчивым, никогда, казалось, и не дерзавшим даже подумать поднять знамя бунта.

Варвара Александровна была полновластная глава в доме. Она решала не только за себя, но и за мужа. Нередко даже и говорила за него, когда он, казалось ей, несколько мямлил. Она обожала Бориса Николаевича со всей силой страстной и ревливой природы, заботилась о нем с усердием няньки и следила за ним с зоркостью опытного шпиона. И за свою любовь, безграничностью которой она сама гордилась, точно подвигом, и о которой

часто напоминала мужу, чтоб он ее чувствовал и ценил, — она, разумеется, требовала, чтобы он находился, так сказать, в постоянном и безраздельном ее пользовании во все время, свободное от службы, и чтобы давал отчет о тех редких часах, в которые он пользовался относительной свободой. Опоздание со службы к обеду вызывало подробные объяснения. Еще бы! Ведь она так беспокоилась за своего Бориса, она так его любит, что всякая неизвестность о нем серьезно расстраивает ее. Нечего и говорить, что в гости ли, в театр ли они ходили вместе, а когда оставались дома, то просиживали вдвоем вечера в ее комнате. Он читал какую-нибудь книгу, а она слушала, пришивая к его ночным сорочкам пуговицы или штопая его носки. Отпуская его иногда сыграть в карты, Варвара Александровна просила его не засиживаться — вредно! — и за ужином не пить много вина — еще вреднее! — и дожидалась его возвращения, встречая его ласковой улыбкой и нежным взглядом своих больших, черных, блестящих глаз. Расспрашивая о подробностях проведенного вечера, она интересовалась: были ли да-

мы, и какие, и говорила, что проскучала без мужа вечер: ведь она – он это знает – так его любит!

И Борис Николаевич, человек очень мягкий, не отличавшийся большим характером, нес это иго чрезмерной любви с трогательной покорностью, и хотя его подчас тянуло из дому сыграть в картишки или поужинать и поболтать в трактире с приятелем, но он сдерживал свои желанья, чтоб не огорчить жену, подавленный, так сказать, ее добродетелями и переполненный благодарностью за ее беспредельную любовь. Да и трусил, признаться, сцен... очень трусил, тем более, что они имели более или менее трагический характер и кончались истериками, после которых Борис Николаевич чувствовал себя бесконечно виноватым. Она вся живет для него, боготворит его, а он, свинья, вдруг закатился до трех часов ночи!! Правда, в голове Бориса Николаевича иногда шевелилась мысль, что, пожалуй, было бы лучше, если б жена любила его чуть-чуть поменьше, без той порывистой страстности, которая граничит с тиранией, и без того особенного нежного и заботливого

внимания к его здоровью, которое лишало его возможности беспечно просидеть за ужином, потягивать вино и вести оживленную беседу, не поглядывая беспокойно на часы и не думая, что из-за тебя не спит любимая женщина и в страхе, что тебя переехала карета, напали недобрые люди или, еще того хуже, заинтересовала какая-нибудь блондинка или брюнетка, – не отходит от окна, прислушиваясь: не едет ли извозчик с запоздавшим мужем. Но, разумеется, Борис Николаевич не осмеливался при жене проповедовать такую возмутительную ересь и возлагал надежды на время, которое сделает привязанность жены более спокойной. А пока – надо покориться. Ведь Вавочка его так любит, так заботится о нем, – утешал себя Борис Николаевич, вдобавок и польщенный, что его особа возбуждает к себе такую необузданную привязанность, да еще такой хорошенькой маленькой женщины, как его Вавочка, обладающая каким-то особенным искусством поддерживать в нем влюбленные чувства.

И этот-то мягкий и пугливый человек, казалось, вполне помирившийся с положением

«законного пленника» и с трогательной покорностью переносивший, ради редкой любви жены, некоторое стеснение свободы, – вдруг, после долгого пленения, поднял знамя бунта, задумав сбросить иго своей повелительницы.

IV

Революция, как водится, началась с робких демонстраций.

Оставаясь по вечерам наедине с Варварой Александровной, Борис Николаевич стал чаще позевывать, испытывая удрученное состояние духа, и нередко, как трусливый человек, замышляющий ковы, не без внутреннего страха бросал украдкой взоры на Вавочку, причем совершенно неожиданно для себя находил, что лицо Вавочки хоть и красиво еще, но потеряло прежнюю свежесть, и подмечал «веерки» на висках, и то, что под глазами как будто подведено. И усики на пышных губах, которые прежде так нравились, теперь казались ему слишком заметными у женщины. Борис Николаевич нередко громко вздыхал и читал вслух книгу без прежнего увлечения и довольно рассеянно.

«Удрать бы куда-нибудь. То-то бы хорошо!» – частенько забегала в голову Бориса Николаевича соблазнительная мысль на самой интересной сцене романа, и он мысленно представлял себе «место», где можно бы при-

ятно провести время, – поболтать с какой-нибудь менее серьезной, чем Вавочка, хорошенькой женщиной... Просто так, поболтать и посмеяться, не считая всякого лыка в строку, а потом кутнуть слегка с добрым приятелем... Как ни хорошо и уютно, казалось, было в гнездышке Варвары Александровны, где обыкновенно происходили вечерние чтения, от десяти до двенадцати, когда спали дети, и как ни мила и любяща была сама Вавочка, склонившая головку над починкой какой-нибудь принадлежности детского или его туалета – «она ведь вся живет для него и детей!» – тем не менее неблагодарного Бориса Николаевича все сильнее и сильнее тянуло задать тягу из этого уютного храма безграничной любви и забот о нем, и от этой самой образцовой жены, милой, любящей Вавочки, не отпускающей его от себя.

Но вот вопрос: как улепетнуть, чтоб не раздражить и не огорчить Вавочку?.. Она примет это за недостаток любви... и тогда – взбучка!

Борис Николаевич озабоченно ломал голову, пока не напал на счастливую мысль: надо ее приучить к этому. Из-за чего, в самом деле,

огорчаться и делать человеку сцены? Другие же жены (в голове Бориса Николаевича мелькал ряд других жен) сидят одни дома или преспокойно себе ездят одни в гости или в театр, а мужья их так же спокойно уходят, куда им заблагорассудится. И ничего себе... Нельзя же, в самом деле, вариться вечно в собственном соку! – не без тайного раздражения рассуждал Борис Николаевич, весь полный зависти к более свободным и менее любимым мужьям. И Борис Николаевич мечтал завоевать тихо, постепенно, не раздражая Вавочки, с помощью доводов, словом – легальным путем, и себе это маленькое право в супружеской конституции: право по временам уходить из дому и посещать своих знакомых и приятелей, а не одни только излюбленные женой дома, где жены – унеси ты мое горе! – и вечно толкуют о своих добродетелях. Еще бы! Удивительно еще, что мужья не сбежали от этих добродетельных уродов... А Вавочка именно только с такими дамами и дружит!

Такие революционные идеи все чаще и чаще стали заходить в голову доселе покорного мужа, и он сперва раз, потом два раза в неде-

лю, а затем и чаще стал исчезать из дому. На первых порах, пока Криницын не перешел к открытому возмущению и еще трусил своей автократической повелительницы, — он, перед уходом из дому, давал подробные объяснения и, надо сказать правду, довольно-таки позорно вилял хвостом. То его непременно звали повинтить. «Уж ты не сердись, что я уйду, Вавочка. Я давно не играл. Я, милая, скоро вернусь» (Чмок, чмок!). То сослуживец именинник! «И не особенно хочется, а надо, родная, идти. Обидится!» (Чмок, чмок!). То приятель в каком-то обществе доклад читает. Обещал прослушать, а потом к нему чай пить... «Я буду недолго!» (Чмок, чмок!). Одним словом, надобности стали являться сами собой, словно из рога изобилия, и тон этих объяснений был убедительно-заискивающий и необыкновенно красноречивый — откуда только слова брались, точно у хорошего адвоката! И когда, в ответ на эти ораторские приемы, Варвара Александровна с прискорбным изумлением смотрела на мужа, как бы пораженная, что он оставляет ее одну, Борис Николаевич старался не глядеть на Вавочку, чтобы

позорно не спасовать в решительную минуту, и, благодарно облобызав хорошенькую ручку, торопливо хватался за шапку и улепетывал из дома. Очутившись на улице, он чувствовал необыкновенный прилив веселости и внезапный подъем духа, словно бежавший узник, обеспеченный от опасности погони, и, вероятно, от радости, давал извозчику хорошую цену. Случалось однако, что попытки уйти не увенчивались успехом. Варвара Александровна вдруг объявляла, что больна, и надеялась, что Борис не оставит ее больную одну. Борис Николаевич покорялся, но в душе роптал, не замечая никаких признаков болезни Вавочки, кроме разве того, что она снимала корсет, одевала капот и объявляла, что у нее и голова болит, и вот тут, и тут. Борис Николаевич, разумеется, предлагал ехать немедленно за доктором, чтобы хоть прокатиться с полчаса, но доктора, конечно, не требовалось... «Так пройдет!» И действительно, в скором времени проходило. Но Борису Николаевичу уходить уже было поздно в одиннадцать часов, и он выражал затаенное неудовольствие тем, что помалчивал, сидя около Вавочки, доволь-

но сдержанно отвечал на нежные слова Вавочки, благодарившей за «жертву», которую он принес для нее, оставшись дома, и закатывался спать, не дожидаясь отхода ко сну Варвары Александровны и не болтая с ней, как они обыкновенно делали, перед тем, что заснуть. На следующий день Борис Николаевич уже придумывал новый предлог, чтобы вечером освободиться от обязательного чтения или от поездки вдвоем в гости, тем более, что, как и большая, впрочем, часть господ мужей, чувствовал себя в обществе, в присутствии жены, совсем не так, как без нее. При ней он был как-то солиден и молчалив, а без нее – откуда только прыть бралась! Он оживлялся, болтал, спорил, бывал остроумен и любезен и не стеснялся высказывать иногда довольно щекотливые мнения о цепях любви; но при этом, разумеется, как вполне приличный муж, говорил вообще, «теоретически»... Что же касается лично до него, то он безгранично счастлив.

И, случалось, в приливе откровенности, после нескольких стаканов вина, шептал на ухо приятелю:

– Вавочка, знаете ли, такая редкая женщина... Такая редкая...

На первых порах возвращения Бориса Николаевича домой были более или менее аккуратны, и Варвара Александровна не имела повода беспокоиться, что мужа переехала карета. Однако учащенные отлучки из дома не нравились ей, вселяя в ее ревнивое сердце смутные подозрения и оскорбляя ее властолюбивую душу. «Сидел покорно дома, никуда его не тянуло, и вдруг зачастил...» И она время от времени задавала мужу так называемые «бенефисы», в которых упрекала, что она вечно одна и что, следовательно, муж ее не любит. Борис Николаевич, конечно, клялся, что любит по-прежнему, в доказательство нежно целовал ее руки и почтительно старался убедить Вавочку, что, во-первых, она не вечно одна, а много-много два или три раза в неделю, и что нельзя же ему не поддерживать знакомства с товарищами и сослуживцами... И так как «бенефисы» эти были, относительно говоря, из легких, то Борис Николаевич покорно их выслушивал, считая их терпимым наказанием за приятно проведенные

вечера, и без особого труда получал в конце концов прощение.

Но вскоре Борис Николаевич совершил тягчайшее преступление.

Уйдя из дому, несмотря на жестокую мигрень Варвары Александровны, и обещая вернуться никак не позже двенадцати часов, он возвратился в пятом часу утра, и в каком виде!..

Пошатываясь, с покрасневшимся лицом, на котором бродила добродушно-блаженная улыбка подвыпившего человека, с осоловелыми глазами, вошел он в спальню и увидел перед собой дожидавшуюся его жену, изумленную, строгую и взволнованную.

– Борис! – прошептала только она голосом, полным скорбного упрека, при виде своего столь тяжко провинившегося подданного.

Но Борис Николаевич как будто не почувствовал всей трагичности тона жены и добродушно, слегка заплетая языком, спросил:

– А ты не спишь, Вавочка?..

– Ты, кажется, видишь!.. Я всю ночь не спала из-за тебя, – проговорила она мрачным голосом и строго прибавила, – где ты был?

Видимо склонный к откровенной болтливости и стараясь твердо держаться на ногах, Борис Николаевич неосторожно вдался в подробности.

– Напрасно ты не спала, Вавочка... Напрасно, милая... Карета меня не переехала... Нет... Твой муж здоров и невредим... Я был у Василия Григорьевича... Много народу... Играли в карты... Ужинали... Прости, Вавочка, засиделся... А потом... потом...

– Что потом? – спросила упавшим голосом Варвара Александровна.

– Не пугайся, Вавочка... Потом мы поехали на тройках... Прелестно... Славная дорога... В Самарканд... А я сидел в санях с Анной Петровной... Премилая эта женщина и хорошенькая, Вавочка... Она к тебе очень расположена... велела кланяться... Все смеялась, что ты меня никуда не пускаешь и что я к тебе пришит... Говорила, что я не посмею поехать на тройке... А я взял и поехал. Что тут дурного?.. Ты ведь не сердись?.. Ты ведь прелестная женщина, Вавочка...

Варвара Александровна слушала, пораженная непритворным ужасом и внезапно

охваченная жгучим подозрением. Она не прочь была тут же, сейчас же сделать трагическую «сцену» и показать виновному всю силу своего негодования, раскрыть все муки оскорбленной, обиженной женщины, муж которой ездит на тройках в то время, когда жена больна, и ухаживает «бог знает за кем»; но, взглянув на добродушно-веселое лицо Бориса Николаевича, неспособного, казалось, в эту минуту восчувствовать весь ужас своего поступка, она лишь резко и повелительно сказала:

– Ложитесь спать!

Варвара Александровна еще долго плакала, оскорбленная, возмущенная, негодующая (особенно против этой «подлой, вертлявой» Анны Петровны, увлекающей чужих мужей), лежа рядом с бессовестно храпевшим преступником, словно он и не совершил тяжкого преступления, нарушив слово и нагло обманывая жену, и наконец, обессиленная от злобы и мук ревнивых подозрений, забылась в коротком тяжелом сне, приняв знаменательное решение: «серьезно поговорить с мужем», чтобы впредь он не осмеливался

оскорблять ее верховных прав.

По счастью, Борис Николаевич не мог провидеть во сне всего значения этого предстоявшего «серьезного разговора», иначе едва ли его сон был бы столь безмятежен и храп так нагло бессовестен, как в это январское утро. Впрочем, ведь известно, что некоторые преступники спят спокойно и перед казнью.

Позднее пробуждение Бориса Николаевича было не из приятных. Голова была тяжела, а состояние духа отвратительное. Воспоминание о позднем возвращении, о неуместной болтливой откровенности с Вавочкой охватило позорной трусостью его робкую душу, удручая ее сознанием действительной виновности и ожиданием непрямого возмездия.

«В пятом часу... Тройки... Самарканд... Анна Петровна... Мигрень... Вавочка...» – тревожно думал он, высовывая из-под одеяла заспанное лицо и осторожно поворачивая голову... Постель Вавочки пуста... В спальне злоедающая тишина. «Вавочка, верно, оделась и пьет в столовой кофе, глубоко огорченная...» И смущенный Борис Николаевич торопливо поднялся с постели и стал одеваться, питая

робкую надежду удрать поскорее без объяснений на службу и выпить где-нибудь по дороге стакан чаю... Быстро одевшись, он вышел из-за ширмы, из-за этой красивой, атласной ширмы, скрывающей обе кровати, и совершенно неожиданно увидал Вавочку.

Она сидела в мягком кресле бледная, с устремленными перед собой глазами, грозно-спокойная и торжественно-мрачная, точно подавленная тяжестью несчастья, с крепко сжатыми губами и гневно раздувающимися ноздрями своего крупного с горбиной носа, и, казалось, не замечала мужа.

Вид Вавочки не предвещал ничего приятного, и окончательный струсивший Борис Николаевич думал было проскользнуть в двери, а затем за шапку и с богом на службу – пусть уж объяснение будет потом, после обеда... Но топография местности не позволяла исполнить этот план. Он не мог не заметить Вавочки. Поэтому Борис Николаевич, в отваге отчаяния, сделал несколько шагов к креслу и, подбадривая себя, проговорил умышленно развязным тоном, будто человек, не совершивший ничего преступного:

– Здравствуй, Вавочка... Ты, бедная, из-за меня не спала?

И с этими словами, развязность тона которых не исключала однако некоторой заискивающей трусливости, Борис Николаевич, приблизившись к креслу, хотел было поднести руку Вавочки к своим губам, как вдруг движением, полным отвращения, точно Борис Николаевич был весь в проказе и прикосновение к нему грозило гибелью, Варвара Александровна отдернула вздрагивающую руку и глухим трагическим голосом своего низкого контральто произнесла:

– Не прикасайтесь ко мне!

Борис Николаевич опешил. Такого начала «бенефисов» еще не бывало в его супружеской практике, и «вы» еще ни разу не употреблялось.

И, почтительно отступив, он мог только робко и нежно произнести:

– Но, Вавочка... друг мой... выслушай.

– И вы еще смеее говорить!?! – вскрикнула Варвара Александровна, вскакивая с кресла, словно в нем вдруг оказалась игла, и до глубины души возмущенная недостаточно вино-

ватым видом Бориса Николаевича, который между тем так виноват.

– Вы смеете еще говорить!? – повторила она, вся закипая гневом и окидывая уничтожающим взглядом своих сверкнувших глаз человека, который был пьян, ездил на тройке, ухаживал за Анной Петровной и вернулся в пятом часу утра, в то время, как жена сидела дома одна... больная.

Слова эти были вступлением к тому, что Варвара Александровна называла: «серьезно поговорить», а вслед за тем начался и самый разговор, вернее монолог, так как говорила только Варвара Александровна, а оробевший Борис Николаевич лишь тщетно пытался вставить слово оправдания, – монолог, перешедший в одну из тех бурных, неистовых сцен, которые столь любят подозрительные, страстные и нервные женщины, думающие только о своей любви, о своих страданиях, оскорблениях и правах и забывающие в своем наивном эгоизме о каких бы то ни было правах человека, который имеет завидную долю быть ими безгранично и горячо любимым.

Это было целое драматическое представление впечатлительной, экспансивной и страстной женщины, легко принимающей фантазию за действительность, подозрение за факт, частью искреннее, частью несколько театрально приподнятое, с криками, слезами, угрозами, с жестами отчаяния и непритворным страданием, – с эффектами и резкими переходами от трагического шепота глубоко несчастной женщины к властному крику оскорбленной повелительницы возмущившегося подданного, – от едких оскорбительных сарказмов и грубых ругательств мучительной ревности к мольбе о пощаде и уверениям в своей любви и своих добродетелях, – от заклинаний сказать все, все, всю правду и обещаний просить, если он разлюбил Ваву, к жестоким упрекам в подлом поведении, в обмане и в черной неблагодарности, – от злобных насмешек над «подлой тварью», на которую муж мог променять честную женщину, к угрозам покончить с собой, если он ей изменит...

И затем – истерика и заключительный обморок.

Борис Николаевич, хорошо знакомый с драматической жилкой характера своей Вавочки, был тем не менее сильно угнетен и в первую минуту считал себя бесконечно виноватым, готовый каяться, что поехал на тройке, да еще с Анной Петровной. Удрученный и растерянный, он перенес Вавочку на кровать, давал ей нюхать соли, нашатырный спирт, осыпал ее поцелуями. Но так как обморок не проходил и Вавочка лежала без движения, то Борис Николаевич, не вполне знакомый с продолжительностью и характером женских обмороков, выбежал из спальни и, взволнованный и испуганный, хотел было послать за доктором. Но старуха-няня, Авдотья Филипповна, державшая втайне всегда сторону Бориса Николаевича и находившая, что он совсем не по-мужски позволяет помыкать собой вместо того, чтобы держать жену в повиновении, – остановила его от напрасной траты денег на доктора и уверенно объявила, что «все это» у барыни скоро пройдет от компрессов. Она приложит их сейчас.

– У барыни часто бывает эта самая «мергень», – дипломатически и не без иронии на-

звала няня болезнь Варвары Александровны, – и, ничего себе, скоро проходит... Варвара Александровна, слава богу, дама здоровая... Не выпались, – вот и мигрень. А вы напрасно не волнуйтесь, Борис Николаич... Не из чего... И не ухаживайте сами за барыней, лучше будет. Наша сестра от потачки только больше дуреет... – конфиденциально прибавила Авдотья Филипповна. – Эка важность, что поздно вернулись... Вы посидите-ка в кабинете, пока я побуду у барыни, а Таня займет детей, – подбадривала няня Бориса Николаевича и взглянула на него с сочувствием и в то же время с сожалением, что он такая «тряпка».

День прошел в томительном беспокойстве. В квартире стояла тишина, точно в ней был тяжелобольной. Дети, слышавшие, как мама ругала папу, присмирели и боялись шумно играть. Мама больна. Мама спит. И все ходили на цыпочках.

А Борис Николаевич, несколько оправившийся от сцены, терзался упреками, что был откровенен, и дал себе слово впредь о тройках никогда не говорить и ни одного женского имени при жене не произносить иначе,

как с порицанием. Он и жалел Вавочку, – она так близко принимает все к сердцу, бедная! – и в то же время находил, что его вина не настолько же, в самом деле, серьезна, чтобы так расстраиваться и делать такие ужасные сцены. Ведь если подобные сцены да в частых порциях, то это проявление любви, пожалуй, вроде каторги... Няня умная женщина и права: не следует потакать... «Эка важность, что я поздно вернулся и что ездил с Анной Петровной... Ну... поцеловал раза два руку... Только и всего!»

– Барыня вас просит, – доложила вошедшая Таня, довольно уродливая, пожилая девушка, любимица барыни.

Криницын с подавленным вздохом вышел из кабинета, как человек, не знающий, что его ждет: возобновление ли «бенефиса» (примеры бывали) или помилование. Осторожно ступая, вошел он за ширмы и хотя только что у себя в кабинете храбрился, считая свою вину не очень тяжелой, – здесь, перед Вавочкой, благоразумно имел покорный вид кающегося преступника.

Вавочка, хорошо выспавшаяся в течение

дня, умытая и надушенная, успевшая, при помощи маленького зеркала, основательно познакомиться с наружным видом своего посвежевшего, после сна, лица и с эффектом распущенных черных волос, ниспадавших по белому фону капота, – лежала, полуосвещенная мягким светом фонарика, на убранной кровати, полузакрыв глаза, с томным видом оправляющейся от тяжкого недуга женщины.

Борис Николаевич осторожно взял ее руку, поднес к своим губам и нежно и продолжительно поцеловал, как бы испрашивая этим поцелуем помилование. Варвара Александровна, видимо, перестала считать мужа прокаженным, потому что не только не отняла руки, но даже в ответ слабо, как немощная женщина, пожала руку Бориса Николаевича, печально вздохнула и, словно вспомнив что-то тяжелое, заплакала... Слезы тихо струились из ее глаз, но это были слезы покорной, несчастной женщины и умилили Бориса Николаевича.

– Вавочка... милая... – прошептал он дрогнувшим, взволнованным голосом.

И он опустил на колени (коврик перед

постелью был мягкий и пушистый) и стал нежно гладить ее голову. И Вавочка закрыла глаза своими длинными ресницами, из-под которых сочились слезы.

Прошла минута трогательного молчания с обеих сторон. Борис Николаевич приободрился, чувствуя, что возобновления бенефиса не предвидится и что помилование близко, а следовательно в доме кончится так называемое «военное положение», когда все ходят мрачные, и дети снова могут шумно и весело играть без страха беспокоить больную маму.

И ввиду этого Борис Николаевич с особенной нежностью несколько раз поцеловал благоухающую Вавочкину щеку и при этом нечаянно даже попробовал вкус слезы, но, впрочем, не нашел его особенно приятным.

Наконец Варвара Александровна открыла глаза, увлажненные слезами, и, утирая их, тихим, совсем тихим и слабым голосом, точно слабость и горе не позволяли ей говорить громко, – спросила:

– Ты не обманываешь меня, Борис? Ты в самом деле меня любишь?

Этот вопрос был обыкновенно первым вер-

ным признаком помилования человека, которому задавались «бенефисы», и Борис Николаевич поспешил ответить самым искренним и горячим тоном, не допускающим ни малейшего сомнения:

– О, Вавочка...

И так как продолжать стоять на коленях, хотя бы и на мягком коврике, не совсем было удобно для сорокадвухлетнего человека, да, по-видимому, и не представляло больше необходимости, то Борис Николаевич пересел в низенькое кресло и приятно потянулся.

– А та... Анна Петровна... – произнесла, как бы с трудом выговаривая это имя, Варвара Александровна с болезненно-презрительной гримасой и вперила испытующий долгий взгляд на мужа.

Борис Николаевич только брезгливо пожал плечами, словно бы говоря, что Анна Петровна для него ровно ничего не значит.

– Что между вами было... Признайся, Борис... Ведь было? Ты с ней часто встречаешься... Она тебе нравится?

– Вавочка!.. Да мы с ней всего-то раз или два виделись... И за кого ты меня принима-

ешь?.. Кажется, у меня вкус есть... Анна Петровна!? Нравится!?

И Борис Николаевич даже рассмеялся и стал горячо говорить, что Анна Петровна, пожалуй, и смазливая бабенка, но несколько неинтересная, и с такой беспощадной критикой стал разбирать и ее нос, и глаза, и шею, и глупость, что если б Анна Петровна могла это слышать, то, вероятно, назвала бы Бориса Николаевича порядочным лицемером и трусом, готовым из-за спасения своей шкуры позорить ту самую хорошенькую блондинку, бойкую, остроумную и веселую, которой он еще вчера расточал комплименты.

Варвара Александровна опять испытующе посмотрела на мужа. Но он, помня еще хорошо утреннюю сцену и зная возможность перехода Вавочки из состояния томной грусти в состояние бешеной ярости, с блистательным бесстыдством выдержал испытание.

– И ты не целовал ее рук?.. Ведь она рада случаю. Признайся, целовал?..

«Нашла дурака!» – подумал Борис Николаевич.

И, чувствуя, что помилование его в шляпе,

он не без шутливости заметил:

– Благодарю покорно, Вавочка... Стану я целовать ее скверные пухлые руки! – прибавил он не без брезгливости.

– Поклянись! – торжественно произнесла Варвара Александровна, вообще имевшая слабость к разного рода клятвам.

За этим дело не стало, и Борис Николаевич весьма охотно поклялся, предпочитая дать десять ложных клятв, чем иметь одну сцену, подобную утренней.

– Я бы удивилась, Борис, если б тебе могла понравиться «такая» женщина, – несколько оживленнее проговорила Вавочка.

– Еще бы не удивиться!

– Но как же она смела дразнить тебя... Говорить вздор, что я тебя никуда не отпускаю...

– Дура, потому и говорит! – коротко обрешал Борис Николаевич.

Варвара Александровна вытянула губы, давая этим знать, что он может их поцеловать, и горячим поцелуем помиловала его. Однако продиктовала условия: избегать встреч с этой «дурой», а то она в самом деле вообразит, что Борис за ней ухаживает. И кроме того...

– Что, Вавочка?..

– Собирай у себя лучше партнеров... Раз, два в неделю, как хочешь...

Борису Николаевичу предложение это очень не понравилось. Однако на радостях, по случаю помилования, он обещал как-нибудь это устроить...

В эту минуту чего бы он ни обещал?

Варваре Александровне казалось, что муж теперь настолько проучен, что не скоро обнаружит дух неповиновения. Но она ошиблась. Крутые меры, которыми она думала удержать своего подданного, вместо того, чтобы сделать ему благоразумные уступки, только ускорили приближение открытого бунта.

Прошло два-три дня, что Криницын, еще не вполне оправившийся от погрома, покорно просиживал вечера дома и раз даже проскучал у «симпатичных» знакомых Варвары Александровны, как уж он снова норовил удрать из дома, где чувствовал ту подавленность и неодолимую скуку, какую испытывает заключенный хотя бы с самым обожающим его тюремщиком. Нечего и говорить, что Борис Николаевич из любви к Вавочке не всегда откровенно заявлял, куда он уходит, и чаще всего называл фамилию одного молодого сослуживца, где часто играли в карты, хотя вместо карт преспокойно дул себе у Палкина красное вино с каким-нибудь приятелем и горячо говорил на тему о женской любви, раз-

вивая при этом самые парадоксальные взгляды насчет стеснительности ее в неумеренной дозе. А не то уходил к знакомым, где собиралось много народу в дни журфиксов и где бывала и Анна Петровна. Давая отчет о своем времяпрепровождении, Борис Николаевич, из боязни огорчить Вавочку и получить «бенедикс», малодушно врал самым отчаянным образом и о всякой встрече с особами женского пола, о всяком, самом невинном, разговоре с ними, не говоря, разумеется, о любезных разговорах менее невинного свойства, – даже и не заикался, точно дома, где он бывал, были мужские монастыри, и в них никогда не встречалось ни одной женщины, а если встречались, то все больше одни старухи.

Эта ложь, конечно, обнаруживалась. Жена случайно через своих «симпатичных» приятельниц узнавала, что вместо холостяка Васильева ее благоверный был у Иванова на журфиксе и очень оживленно болтал с Анной Петровной (это с «дурой»-то!), или что Бориса Николаевича видели в гостинном дворе, куда он вызвался ехать за покупками, чтобы не простудилась Вавочка, разговаривающим с

какой-то очень миленькой барышней, или наконец (о ужас!) Бориса Николаевича видели, без сомнения его, в очень веселом настроении духа, в Аркадии (а он говорил, что идет на именины к начальнику и пробудет довольно долго. Хорош гусь!).

Эти открытия сопровождались блистательными «бенефисами». Благодаря умолчаниям мужа из боязни этих же самых «бенефисов», Варвара Александровна подозревала всякие ужасы и с понятным негодованием обманутой женщины осыпала бранью и проклятиями Бориса Николаевича. И напрасно он пробовал возражать, оправдываться... Напрасно он уверял, что любит одну Вавочку и не изменял ей. Напрасно он доказывал, что привязанность не есть вечное терзание... Он обманщик... Он скрывает от нее свои шашни... Сцены повторялись все чаще и чаще, были продолжительней и грозней, сопровождались обмороками, и после них все в доме долго ходили смущенные на цыпочках. Однажды даже Варвара Александровна в отчаянии решилась принять яд, оказавшийся, по счастью, совершенно безопасной микстурой (и няня потом

довольно ехидно подчеркнула Борису Николаевичу, что барыня отлично это знала), и трогательно проделала сцену предсмертного прощания с ревушим, как белуга, Борисом Николаевичем и плачущими детьми, пока не приехал доктор и не разрешил недоразумение, объявив, к общей радости, что умирающая совершенно здорова.

Но обтерпевшийся Борис Николаевич уже не так близко принимал к сердцу все эти сцены, как прежде. Эта атмосфера вечных историй, упреков, истерик и слез, это вечное стеснение угнетало и озлобляло его, и «дом» казался ему тюрьмою. Долготерпение покорного мужа наконец лопнуло, и он открыто возмутился.

Начал он с довольно ловкого маневра – перешел в кабинет, чтобы, возвращаясь домой, не рисковать немедленными «бенефисами». Поощряемый старой няней и задетый за живое насмешками Анны Петровны и одного приятеля, объяснившего, как он прекратил обмороки жены, не обращая на них внимания, Борис Николаевич обнаружил еще большую отвагу и однажды на вопрос Вавочки:

«куда он собирается?» – так решительно ответил, что это его дело, что Варвара Александровна только ахнула от изумления и в первое мгновение онемела. И когда явился дар слова и она заговорила, потом вскрикнула и, схватившись за сердце, упала, как подкошенная, в обморок (по счастью, не на пол, а на диван), то Борис Николаевич хоть и колебался секунду, но в конце концов имел жестокость, не подавши помощи, уйти из дому, послав к жене няню, наградившую его одобрительным взглядом.

Сбросив с себя иго, бунтовщик отпраздновал это событие тем, что в тот же вечер отправился к приятелю, «закатился» с ним в ресторан и вернулся домой в пятом часу утра очень навеселе. Признаться, в первое время Борис Николаевич широко пользовался своей свободой и, словно желая себя вознаградить за долгое рабство, посещал знакомых, у которых он давно не бывал, не стесняясь оставался ужинать, любезничал с дамами, покучивал в трактирах, с приятелями, совершенно забывая, что вино вредно, словом, держал себя точно школьник, вырвавшийся на волю и пе-

реставший бояться грозного учителя, и при этом не только не чувствовал никаких угрызений совести, а, напротив, был так оживлен и весел в обществе, как никогда. И лишь воспоминание о том, что надо возвращаться домой, угнетало его. Впрочем, он и бывал-то дома не особенно часто: за обедом да перед вечерами, когда приходилось выдерживать «бенефисы». Но он принял отличную тактику: он отмалчивался. Чего-чего только ни говорила ему Варвара Александровна, каких только сцен ни делала она, желая вернуть свихнувшегося мужа на путь добродетели, – он ни гугу, только пощипывает бородку и постукивает тихонько пальцами по столу, точно и не его называют «извергом» и «бессовестным человеком», а там за шапку – и марш, а не то пойдет к детям и возится с ними, пока не запрется в кабинете и не начнет работать... И Варвара Александровна, видя, что его ничем не проймешь, бросила наконец сцены, обмороки и стала дуться. Увы, и это не помогло. Сделайте одолжение! Наконец бессовестность мужа дошла до того, что когда однажды Варвара Александровна, желая сделать послед-

нюю попытку обращения его на путь истины, поздно ночью, когда Борис Николаевич только что вернулся, – пришла к нему вся в слезах, полуодетая, с распущенными волосами, в кабинет, стала просить пощадить и ее, и детей и наконец бросилась к нему с воплем на шею, умоляя изменить образ жизни, Борис Николаевич не только не успокоил ее, не только не обещал исправиться, но с любезною вежливостью заметил наконец, что ему хочется спать. Это обстоятельство окончательно убедило ее в громадности ее несчастья и открыло глаза на бесповоротную потерянность Бориса Николаевича.

VI

Склонив голову над маленьким письменным столиком, на котором, среди разных вещиц, стояли в изящных рамках фотографии детей (портреты «этого человека», когда-то занимавшие почетное место и на столе и над столом, были давно сосланы в глубину комода), – Варвара Александровна дописывала своим красивым мелким английским почерком шестой листик письма или, вернее, обвинительного акта, в котором, со страстностью самого свирепого прокурора, сгруппировала в яркой картине все гадости мужа, сообщая старушке-матери, вдове, жившей на юге, о своем решении.

«Бедная мама! Как она будет удивлена! Она и не подозревает, что ее дочь так несчастна!» – подумала Варвара Александровна, перечитывая письмо.

Она вложила его в изящный конверт из толстой бумаги, написала решительно адрес, наклеила почтовую марку и вышла из спальни, чтоб приказать горничной Тане бросить письмо в ящик. «С курьерским оно пойдет, и

через три дня мама его получит и, верно, на следующий же день выедет!» – рассчитывала Варвара Александровна. Затем она заглянула в детскую, где играли дети: мальчик Боря, восьми лет, и Варя – миленькая шестилетняя девочка, поцеловала их обоих с какой-то особенной страстной порывистостью, глотая слезы, и велела Авдотье Филипповне прийти на минутку к ней.

Старая, полная, опрятно одетая няня, с маленькими, умными серыми глазами и степенным серьезным лицом вышла вслед за барыней в спальню.

– Няня, я знаю, вы любите детей, – заговорила слегка заискивающим тоном Варвара Александровна, – и они к вам привыкли...

– Слава богу, пять лет около них, – сдержанно отвечала няня, не понимая, в чем дело.

– Так, я надеюсь, вы их не оставите, если я уеду с детьми отсюда...

– Куда изволите уезжать?.. – спросила недовольным тоном Авдотья Филипповна.

– На другую квартиру... Я с детьми буду жить отдельно от Бориса Николаевича.

Няня строго поджала нижнюю губу с боро-

давкой и бросила на барыню недоверчивый и неодобрительный взгляд.

– А как же Борис Николаевич будет без детей? – спросила она после паузы. – Борис Николаевич очень любит детей, да и дети любят барина.

– Он будет с ними видаться.

Старуха укоризненно покачала своей круглой седой головой в белом чепце и решительно проговорила:

– Осмелюсь доложить, барыня, неладное вы затеяли дело. Мало ли что бывает между мужем и женой, но только чем же дети виноваты... За что детей лишать отца? Извольте-ка об этом подумать, сударыня.

– Я и без вас, няня, об этом думала... Что делать?.. Иначе нельзя! – промолвила Варвара Александровна, видимо недовольная замечанием няни, и, желая прекратить дальнейшие объяснения, спросила:

– Так вы согласны оставаться у меня или нет?

– Детей не брошу. Из-за них останусь! – отрезала Авдотья Филипповна и вышла из спальни.

Из передней донесся звонок.

– Он! – шепнула Варвара Александровна и вся как-то подтянулась, принимая решительный вид.

Через минуту вошла горничная и доложила:

– Барин пришел. Прикажете подавать обедать?

– Подавайте... Да скажите кухарке, чтобы не пережарила рябчиков, – крикнула вдогонку Варвара Александровна, внезапно увлеченная ролью хозяйки.

«О каких пустяках приходится заботиться!.. Какие-то рябчики, когда ломается вся жизнь!» – печально усмехнулась Варвара Александровна, подходя к большому шкапу с зеркалом и с грустной улыбкой оглядывая свое лицо и всю свою крепкую, статную маленькую фигурку.

Она пригладила свои чудесные, густые черные волосы с эффектной серебристой прядкой, оправила лиф, тонкая ткань которого обливала пышные формы бюста, затем вымыла маленькие тонкие руки, надела кольца, взглянула на безукоризненные розовые ногти

и, свежая, красивая, изящно одетая, с строго-печальным и решительным выражением в лице, вошла, с легким шелестом платья, в столовую, где в ожидании ее Борис Николаевич держал на коленях детей и, покачивая их, вместе с ними весело улыбался.

«Этот человек» по виду совсем не походил на того «бессовестного», «безжалостного» и «потерянного» господина, которому, по мнению Варвары Александровны, предстояла печальная перспектива спиться с круга и вообще быть жестоко наказанным за свои многочисленные преступления.

Это был небольшого роста блондин с светлыми волосами и небольшой русой бородкой, с мягкими, расплывчатыми чертами довольно красивого лица, моложавый, здоровый, мягкотелый, с флегматическим взглядом небольших серых глаз.

Сравнивая «этого человека», в выражении лица которого и во всей фигуре сразу чувствовался спокойный и податливый темперамент ленивой, склонной к подчинению, натуры, с этой маленькой энергической женщиной, — можно было только удивляться, как «этот че-

ловек» решился открыто восстать против своей повелительницы; разве только соображение, что эти мягкие, пассивные натуры, раз только выведенные из терпения, бывают упрямы, – могло до известной степени объяснить строптивую непокорность этого человека.

При появлении Варвары Александровны, веселая улыбка сбежала с лица Бориса Николаевича, и он вдруг затих, как затихли и стали серьезны вдруг и дети, хорошо понимавшие натянутые отношения между родителями.

Борис Николаевич спустил детей с колен, поклонился жене, проговорив холодно-вежливым тоном: «Здравствуй, Вавочка!» и хотел было подойти к жене, чтоб пожать ей руку, но Варвара Александровна, едва кивнув головой, торопливо прошла и села за стол на свое хозяйское место.

Обед прошел, как обыкновенно проходил в последнее время, в томительном безмолвии. Только маленькая черноглазая Варя, не обращая никакого внимания на общую натянутость, по временам громко смеялась и обра-

щалась с вопросами то к матери, то к отцу. Борис Николаевич добродушно отвечал ей, любовно поглядывая на свою любимицу и как бы доказывая, что и «этот человек» способен любить детей.

Няня, стоявшая за высоким стульчиком Вари, была сегодня сумрачна и с некоторой жалостью смотрела на Бориса Николаевича, которого хотят разлучить с детьми. Она не одобряла его поведения за последнее время. «Совсем непутевый стал, отбился от дому, шатается по ночам, и жена ему словно не жена!» Но все-таки во всем винила «эту безумную», которая не умела ужиться с таким мужем. «Все из-за того, что бес в ней ходуном ходит! Не может усмирить свою кровь, черномазая! Все еще о своей красоте мечтает!» – с сердцем думала Авдотья Филипповна, размышляя о господских неладах.

Варвара Александровна раз или два бросила украдкой взгляд на мужа и отводила взор еще более строгим и решительным. Та же холодность... То же бессердечие и никакого признака раскаяния у «этого человека».

«Наверное связался с этой подлой дурой и

воображает, что я дам ему развод! Ждите моей смерти!» – подумала Варвара Александровна, метнув злобный взгляд на «этого человека».

А «этот человек», по правде говоря, «воображал», как бы поскорее кончился обед и он бы мог поспать часа два и затем «дернуть» куда-нибудь, благо сегодня он получил изрядный-таки куш наградных денег, из которых можно, по совести, прокутить малую толику. И о «той дуре» он уж и не думал больше. После четырехмесячного веселого и довольно неограниченного флирта, «дура» увильнула и на днях уехала за границу в обществе какого-то юного дальнего родственника, и Борис Николаевич мог только задним числом сокрушаться о том, что «счастье было так близко, так возможно», если б он не был такой рохля.

Обед был кончен, дети ушли, и Борис Николаевич хотел было удрать в кабинет, как Варвара Александровна торжественно произнесла:

– Мне нужно с вами поговорить.

«Бенефис!» – подумал, слегка морщась,

Криницын, снова опускаясь на стул, чтоб выслушать «бенефис» в более удобном положении, и проговорил покорно-равнодушным тоном человека, сознающего, что противиться неотвратимому року бесполезно и надо покориться судьбе:

– Я слушаю...

– Не здесь, надеюсь?

В самом деле, какой он рассеянный! Он и забыл, что в столовой подпускались только ядовитые намеки, а специальным местом для «бенефисов» был в последний год – кабинет.

– Так пойдем в кабинет, Вавочка, – вымолвил Криницын, по старой привычке называя жену Вавочкой, и, пропустив ее мимо себя, вошел вслед за женой в свою небольшую комнату и с предусмотрительностью плотно затворил двери на случай высоких нот звучного контральто жены.

«Еще смеет называть Вавочкой, негодай!» – возмутилась про себя Варвара Александровна и присела на диван.

Криницын опустился в кресло напротив.

Несколько секунд длилось молчание.

«Что ж она не начинает!» – тревожно поду-

мал Борис Николаевич. Взгляд его скользнул по Вавочке, и в голове пронеслась внезапно шальная мысль: «а ведь как она еще сохранилась, эта Вавочка... Если б только не характерец...»

И Криницын вздохнул...

– Надеюсь, вы не удивитесь, – начала Варвара Александровна торжественно-спокойным тоном, – если после всего того, что я испытала за последний год, благодаря вашему постыдному поведению, недостойному порядочного человека, – я пришла к решению: предоставить вам полную свободу жить, как вам будет угодно, и уехать от вас... Разумеется, детей я возьму с собой... Вы ведь не решитесь отнять их от матери?

Варвара Александровна имела полное право торжествовать. Криницына действительно передернуло от этого сюрприза, и он воскликнул:

– Уехать!?! Лишить меня детей!?

Это восклицание омрачило минутное торжество Варвары Александровны и ядовитым жалом вонзилось в ее душу, нанеся глубокое оскорбление ее самолюбию, хотя она и гово-

рила, что презирала «этого человека».

Как! Он только жалеет детей, а меня ни-сколько не жаль, – жены, которая отдала ему лучшие годы жизни. И это за двенадцать лет верности и любви. О, презренный человек!

И, совсем позабыв, что хотела говорить с ним «холодно и спокойно», Варвара Александровна с гневной страстностью кинула:

– Зачем вам дети? Разве вы их много видите? Разве вы часто с ними бываете? Они и так лишены отца. Хорош отец!? Ведь вы вечно пропадаете из дому и возвращаетесь пьяный по утрам... Хорош пример для детей, нечего сказать! Да и без них вам будет удобнее. Они, по крайней мере, не помешают вам жить со своей любовницей... Будете праздновать вторую молодость на полной свободе... Никто не стеснит вас! – ядовито прибавила Варвара Александровна.

Криницын молчал в каком-то столбняке.

– А если захотите видеть детей – можете видеть их у меня... Я останусь в Петербурге. Будьте спокойны, во время этих свиданий я не стану беспокоить вас своим присутствием...

Она взглянула на «этого человека», сидевшего опустив голову, и все еще надеялась, что он вдруг бросится к ее ногам и станет молить о прощении, и она, быть может, простит его ради бедных детей.

Но Криницын не бросался к ногам и, видимо стараясь скрыть свое волнение, наконец проговорил:

– Что ж, если ты... вы хотите, я согласен...

– Еще бы... Я и не сомневалась в вашем согласии... Надеюсь, вы не откажете детям в содержании... Мне от вас ничего не надо... Но дети...

– Я буду давать три четверти своего жалованья...

– Этого за глаза довольно... Благодарю вас за детей! – поднимаясь с дивана, проговорила сдержанно-спокойным, казалось, тоном Варвара Александровна и уже подошла к дверям, как вдруг вернулась и, приблизившись к Борису Николаевичу, крикнула голосом, полным злобы и презрения:

– А от себя скажу вам, что вы презренный, гнусный человек, которого я презираю и никогда не прощу!..

И, глотая рыдания, выбежала из комнаты.

Борис Николаевич струсил. Струсил и крепко задумался. Перспектива одиночества и разлука с детьми сильно смутила его... Да и к Вавочке ведь он все-таки в конце концов привязан... Как-никак, а прожили двенадцать лет... Положим, у нее характерец... немало досталось ему от Вавочки, но ведь она его любила, да еще так, что из-за этой любви, собственно говоря, все и вышло... (Если б поменьше любила! – вздохнул Криницын.) Ну, да и он тоже виноват, что довел жену до того, что она его бросает... Совсем он ее забыл, бедняжку, в этой борьбе за свою свободу и жестоко мстил ей... Действительно, он свиньей себя вел, совсем того... замотался... Все эти флирты, ничего интересного... только трата денег... Вольно же ей было оттолкнуть от себя нелепой ревностью... вечными сценами...

Так размышлял Борис Николаевич и решил, что надо поговорить с Вавочкой, объяснить ей... успокоить ее...

И сам несколько успокоился, почему-то

уверенный, что все обойдется. Вавочка не бросит его и простит, несмотря на все его безобразия.

В этот вечер Борис Николаевич не удрал из дому, пил чай с детьми и долго потом ходил по кабинету, все не решаясь идти к Вавочке, пока она «не отойдет» после недавнего объяснения...

Он несколько раз спрашивал няню, «как барыня?», и старуха все советовала не ходить – обождать, пока барыня в большом расстройстве чувств, и только около полуночи Авдотья Филипповна пришла в кабинет и сказала:

– Теперь барыня не плачет, ступайте, Борис Николаевич, поговорите. Да только не очень винитесь. Наша сестра этого не любит, – конфиденциально прибавила умная няня.

VII

Тук-тук-тук.

– Кто там?

– Это я, Вавочка, – робко и просительно проговорил Криницын.

– Войдите! – ответил дрогнувший голос Варвары Александровны.

Борис Николаевич вошел в спальню – давно он не заглядывал в эту уютную комнату! – и увидел жену, сидевшую на маленьком диванчике и перебиравшую какие-то старые письма – его письма.

– Что вам угодно? – строго спросила она, укладывая письма в ящик.

– Я, Вавочка, пришел с тобой поговорить и...

– Нам не о чем с вами больше говорить, – презрительно перебила Варвара Александровна.

– Вавочка... Так неужели это серьезно?.. Ты хочешь бросить меня...

– А вы думали, я шутила? – саркастически ухмыльнулась она. – Да и не все ли вам равно?.. Детей вы будете видеть...

– Но, Вавочка... Позволь сказать... объяснить... Выслушай, ради бога...

Чем мягче и нежнее звучал голос Бориса Николаевича, тем надменнее и, казалось, холоднее становился тон Варвары Александровны. Но грудь ее тяжело дышала из-под тонкой ткани капота, губы вздрагивали, рука нервно теребила носовой платок.

– Что можете вы объяснить? А впрочем, говорите, если вам угодно...

И Варвара Александровна пододвинулась вперед и, откинув за плечи распущенные свои волосы, оперлась рукой на маленький рабочий столик у дивана и полуприкрыла глаза. Свет лампы осветил ее побледневшее лицо.

– Можно присесть, Вавочка? – спросил почтительно Борис Николаевич.

– Садитесь, – с холодной вежливостью отвечала она, бросая взгляд на «этого человека» и снова опуская ресницы.

Муж опустился в низенькое кресло и начал:

– Положим, я виноват перед тобой, Вавочка... очень виноват, хотя и не в том, в чем ты

думаешь... Я вел себя скверно... кутил... проводил ночи за картами... постоянно уходил из дому... был к тебе невнимателен...

– Вы были жестоки, – вставила Варвара Александровна.

– Согласен... Но, Вавочка, милая Вавочка, вспомни, отчего все это вышло... Ты слишком опекала меня, и я... возмутился... Однако поверь мне, я никогда не переставал тебя любить...

– И имели любовницу? – иронически воскликнула Варвара Александровна.

– Я, любовницу?.. Господь с тобою, Вавочка!

– А эту... вашу... Анну Петровну...

– Анну Петровну!?. Клянусь тебе, что между нами ничего не было...

«Лжет!» – подумала Варвара Александровна, но, взглядывая в лицо «этого человека», в его заблестевшие глаза, которые снова ласкали ее с давно забытой нежностью, Варвара Александровна не стала спорить...

А муж продолжал:

– Мы с этой Анной Петровной, правда, иногда встречались... болтали...

– А теперь?..

– Да ее и нет здесь, Вавочка... Она уехала за границу с каким-то молодым человеком.

– Но другие ваши любовницы?.. – уже мягче спросила жена.

– Никаких никогда у меня не было, Вавочка! – горячо протестовал Борис Николаевич, помня совет умной няни: «не очень виниться».

И опять, разумеется, Варвара Александровна, зная мужа, не поверила, но, вся охваченная едва сдерживаемым волнением близкого, столь неожиданного примирения, она снова промолчала, готовая простить ему все...

А Борис Николаевич, не спуская глаз с Вавочки, пикантной, еще хорошенькой своей Вавочки, еще горячей и искренней заговорил, что он всегда любил Вавочку, знал одну только Вавочку в эти двенадцать лет; он пожалел о бедных детях без отца и, увидав, что растроганная Вавочка жадно внимает его речам и, вся заалевшая, с полуоткрытыми устами, смотрит на него нежным прощающим взглядом своих больших влажных глаз, – понял, что теперь можно броситься к ногам Вавочки

и получить ее полное помилование, несмотря на все свои вольные и невольные прегрешения.

VIII

На следующий день, поздно проснувшись, Варвара Александровна, бодрая, веселая и счастливая, быстро оделась, заказала обед из самых любимых блюд Бориса Николаевича и послала старушке-матери следующую телеграмму:

«Письмо, которое получите, считайте недействительным. Недоразумение вполне разъяснилось».

А когда часу во втором к Варваре Александровне приехала та ее приятельница, муж которой все еще оставался «этим человеком», и, увидав Вавочку веселой, поздравила ее, решив, что она наконец разъезжается с мужем, – Вавочка, немного смутившись, ответила:

– Нет, милая, я долго-долго думала и остаюсь ради детей.

К обеду уже все портреты Бориса Николаевича были возвращены из ссылки и красовались на прежних местах, и «этому человеку» снова было даровано христианское имя «Бориса» да еще с прибавлением «милого».

1894

Notes

[^^^]